

Е.Н. ПРОСКУРИНА  
Сибирская академия наук (г. Новосибирск)

**«МУЧЕНЬЕ — ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ ЖИЗНИ...»**  
(НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
НАД «ЗАПИСНЫМИ КНИЖКАМИ» А. ПЛАТОНОВА)

*Анализируя «Записные книжки» А. Платонова, автор статьи показывает внутреннюю противоречивость душевных исканий писателя и, вместе с тем, цельность его этической позиции, доминантами которой являлись «сомнение» и «детскость». В «Записных книжках» Платонова отразились основы мироощущения писателя, определившие неповторимый стиль его произведений.*

В «Предисловии» к изданным в 2000 г. «Записным книжкам» А. Платонова Н.В. Корниенко пишет: «...в книжках практически отсутствует тот материал, который поддается литературоведческому анализу»<sup>1</sup>. И тем не менее в данной статье мы попытаемся представить некоторые наблюдения, возникшие по ходу чтения этого собрания платоновских записей.

Мучение сердца — так можно определить душевное состояние, которое охватывает уже при первом беглом знакомстве с записками Платонова. У этого чувства в процессе чтения могут меняться мотивировка, интенсивность, но само оно так и не исчезает практически до самого конца. В данном отношении «Записные книжки» передают ту главную интонацию, которая характерна для всего творчества Платонова, но, как кажется на первый взгляд, в модальности наибольшей сгущенности, спрессованности. Попытаемся разобраться в причинах такого ощущения.

Отметим, что в наименьшей степени оно сопровождает чтение 1-й книжки, датированной 1921 годом. Объясняется это, на наш взгляд, той атмосферой внутренней свободы, которая передана в этой одной из самых коротких книжек<sup>2</sup> и выражена в первую очередь через ее тематическое многообразие (что может, кстати сказать, служить дополнительным штрихом к абрису самого периода 20-х гг.). В наибольшей

---

<sup>1</sup> Платонов А. Записные книжки: Материалы к биографии. М., 2000. С. 6. Далее цитаты из книжек приводятся по этому изданию с указанием страниц в скобках. Сохранены орфография и пунктуация Платонова.

<sup>2</sup> Самая короткая записная книжка — 17-я за 1938 г., год ареста сына А. Платонова. Ее объем уместился на одной странице печатного текста. При этом ни одного упоминания об этой трагедии в книжке нет. Только в следующей книжке за 1939 г. (по объему она лишь на одну страницу больше) мы на обратной стороне листа находим краткие записи: «О командировании меня в Норильск. Письма сыну, посылки сыну. Комендант лагеря» (212).

степени особенность 1-й книжки оценивается на фоне следующих за ней книжек 1929-30 гг., о которых речь пойдет ниже. Вот тематический спектр этой книжки: Бог, истина, вера, эволюция, искусство, свобода, физика электричества, энергетика, интеллект, детство. В книжке также есть стихи и две сказки. Первая начинается весьма знаменательными словами, зачеркнутыми автором: «Мне приснился голос», после чего описывается Божий суд над двумя людьми. Первый из них «всю жизнь умирал» во имя Божье для того, «чтобы не умереть», второй «всю жизнь боялся смерти и заботился только о теле своем ... источнике жизни». В Своем судном слове Бог говорит этим людям: «Оба вы хотели одного — жизни и ушли от нея, один — в неживой дух ... ибо умертвил тело, другой — в мертвое тело ... ибо забыл все, кроме тела. И оба вы мертвы. Но вот, если бы вы постигли, что дух и плоть одно, — оба были бы вечно живы и радостны радостью Моей...». На вопрос, «Что же теперь делать нам», Господь отвечает грешникам: «Понять себя и ... жить сначала» (19).

Эта платоновская сказка-притча чрезвычайно важна для понимания исходных оснований миропонимания писателя. В дальнейшем в своих записках он не раз вернется к рассуждениям о Боге и вере, но в них мы уже не найдем той убежденности, которая определяет главную интонацию данной сказки. Примечательно, что уже на следующей странице «Записных книжек» за тот же 1921 г. помещена сказка «Вера, Знание и Сомнение», где последнее слово остается за Сомнением, променявшим «все золото Веры на медяки» и пустившим «их в оборот по миру» (22). А несколькими строчками ниже читаем короткую запись, датированную самим Платоновым 10 апреля: «Люби и верь — и будешь счастлив» (22).

Однако как показывает все творчество писателя, а также и его «Записные книжки», философской максимой Платонова на протяжении всей жизни остается сомнение. Как нам кажется, во многом именно этим свойством сознания писателя объясняется «однообразие» и «постоянство» тематики его произведений, сквозной характер их мотивно-образной системы. «Книжки» убеждают в том, что у Платонова просто нет законченных мыслей и отработанных тем. Он словно заходит к одной и той же проблеме с разных сторон, пытаюсь выявить все ее смысловые повороты, определить границы, но при этом чаще всего убеждаясь в безграничности. В наибольшей степени доказывают это положение записи, относящиеся к работе над финалом романа «Счастливая Москва». Платонов, похоже, так и не смог до конца определиться с судьбой Сарториуса. Отказавшись от своего имени и взяв фамилию незнакомого человека, герой, по замыслу автора, пытается жить жизнью *другого*, однако и этого ему оказывается мало для того, чтобы

понять себя и познать истину. (Вспомним финал первой сказки-притчи, где Бог дает задание человеку «Познать себя и ... жить сначала», что по существу превращается в программную установку как для платоновского героя, так и для самого автора<sup>3</sup>). А дальше — множество вариантов. По одному из них итог жизни Сарториуса видится Платонову как страдальческий конец, по другому герой должен стать женщиной-Москвой. Но предваряет эти итоговые варианты череда превращений Сарториуса, где он, оказывается, «м.б. сам выдумал все души, в которые он переходил. Таким образом нищий обогатил и населил весь мир» (182). Однако внутри этой стратегии персонажа вдруг обозначается тема власти над другими: «Когда Sartorius был разными людьми, — он имел необыкновенный успех, власть над группами людей, очаровывал — сам не зная причины — народ, *п<отому> ч<то>* владел практически его душой» (183). Так поиски истины превращаются для героя в опасную игру, чреватую душевной инверсией. В положительном, по замыслу Платонова, персонаже вдруг зарождаются черты антихриста. Из этих набросков видно, как разработка темы оказывается уже будто бы не под силу автору, тема перерастает собственные рамки, становится практически безграничной, приближаясь к масштабам бытия. Такая стратегия художественного образа ставит под сомнение саму возможность завершения авторского замысла. Симптоматичной в этом отношении является запись в 14-й книжке, датированной издателями 1935-36 гг.: «Ведь Сарториус — тень, второй человек действительного человека, и паразит чужой души, а она тоже... *и все сцеплено в бред*»<sup>4</sup> (174. Курсив мой — *Е.П.*).

Не оставляют Платонова на протяжении всего времени и размышления религиозного характера. Но в них уже мало что остается от первоначальной установки «любить и верить». В записной книжке 1935-го года читаем: «“Там” — ничего нет, как в мусорной куче — все разнообразно и все одинаково. Цена лучшей вещи — копейка, грош, вышедший из обращения» (157). А Бог в сказке того же года — творец-дилетант, который не в силах отличить человеческого ребра от собачьего хвоста. Но память веры, хотя чаще всего и соотносимая с образом «забытой истины», все же до конца так и не исчезает из платоновского сознания. Вот несколько наиболее ярких свидетельств, взятых из книжек разных лет. 1931-32 гг.: «Человек существо двойное —

<sup>3</sup> В 12-й книжке 1935-го года находится важное замечание Платонова по этому поводу: «Люди сами сознают себя неверно, или — природа себя «сознает» не такую, какою ее сознает человек. Человек сам себя не знает, его должен узнать «писатель»» (156. Подчеркнуто автором — *Е.П.*).

<sup>4</sup> В такой стратегии сюжета можно увидеть признаки шизофренического дискурса, что требует специального разговора.

вот основа его психологии, двойное в смысле не двурушника, а, м.б., скорее анг<ела>-хранителя» (108; Подчеркнуто автором — *Е.П.*); 1934 г.: «Нет выхода даже в мыслях, в гипотезах, в фантазии, — после хорошего рассмотрения обязательно окажется Гдь. Что бы ни было!» (147); 1935-36 гг.: «Что-то гудит вдалеке постоянно, волнообразно: время ли, истина (забытая) или судьба» (175.); 1937 г.: «“Главспирт” в каждой, кажется, деревне, ктр. я проехал до Чудова. В одной деревне “Главспирт” открыт рядом с разрушенной церковью — нехорошо» (193); 1942 г.: «Христос как образ созданный из чистого очарования — без новаторства, без теории, без чудес и пр.» (231); 1944 г.: «Бог есть неповторимое и скоропреходящее в существе, непохожее ни на что, ни на кого, исчезающее и дивное ...» (250), «Нет, все божественное — самое будничное, прозаическое, скучное, бедное, терпеливое, серое, необходимое, ставшее в судьбу, — и внутренне согласное со всякой судьбой» (250. Подчеркнуто автором — *Е.П.*); б./д.: «Иисус был сирота. Искал отца. Иосиф — муж Марии, старик — не являлся отцом Иисуса и, вероятно упрекал Марию. Тогда впечатлительный Иисус и ... взял ... себе в родители отца ... общего. Так, возможно, из ... исключительного случая, из обиденного детского горя все и вышло» (271).

Приведенные примеры дают возможность пронаблюдать движение платоновской религиозной мысли, увидеть ее исключительное своеобразие и при этом все большее сближение с народным православием, одна из основных черт которого — стремление приблизить Бога к собственной жизни, объединиться с Ним в единстве судьбы, доли через страдание, терпение, неприхотливость жизнеустроения. Эти черты народного бытия представляются Платонову неким универсальным свойством человеческого существования, о чем не раз свидетельствуют его записи: «При социализме не будет злобы и отчаяния, но глубокое страдание останется ...» (103); «Мальчик на станции Торжок: голодный, безработный (8 лет), мать его отправила из дома, в доме — ведро картошек. Ему некуда, но он весел, предприимчив, ГПУ его гонит с вокзала, он оптимистичен, жизнь — выйдет» (105); «Для Москвы. Сарт<орис>: “Нельзя быть одним и тем же человеком, слишком горе большое настанет, слишком...”» (149); «Как-то все похоже на одно и то же: дождь ли идет, соловей ли поет, молния, машина скрежет ... — все одна насмешка» (150); «Страх, хлеб и вера» (150); «Какой здесь простой, доверчивый, нетребовательный, терпеливый народ — и дети тоже, как ангелы» — запись, сделанная в Чудово в 1937 г. (195); «Мученье — первая категория жизни; вторая — радость...» (266) и т.д.

«Как не похожа жизнь на литературу ... скука, отчаяние. А в литературе — “благородство”, легкость чувства и т.д. Большая ложь —

слабость литературы. Даже у Пушкина и Толстого и Достоевского — мучительное лишь “очаровательно”» (77), — запишет Платонов в 1931 г. Это откровение раскрывает своеобразие творческой позиции Платонова как писателя-одиночки, ощущающего не столько свою предметность по отношению к классической литературной традиции, сколько расхождение с нею. Испытывая высочайший пиетет перед личностями и творчеством русских писателей, он в то же время и отталкивается от них, пытаясь выработать собственную этическую позицию, создать собственную поэтику *жизни без прикрас*. «Сущностью, сухой струею, прямым путем надо писать. В этом мой новый путь», — запишет он в 8-й книжке в том же 1931 г. с особой пометкой: «Очень важно! Существо!!!» (100). И «Записные книжки» помогают ему в этом новом пути, становясь лабораторией творчества, куда он вносит сырьевой материал: факты, события, встречи, — а также кратко фиксирует главное, ключевое, касающееся разрабатываемой темы, художественного замысла или персонажа.

Если вернуться к хроникальной последовательности записей Платонова, то следующей за книжкой 1921 г. оказывается книжка, датированная 1929-1930 гг. Восемилетний пропуск, включающий в себя ранний и «чевенгурский» периоды творчества Платонова, ощущается уже в первых записях этой книжки:

20 000 га — болот

13 000 га — план

из него сделано —

Стоимость работ —

Поймы р<ек> Оскола, Валуя, Уразво, Потудани, Девичы — т<ак> с<казать> — заболоченные страны.

Овраги сильные

Вода глубокая

(грунтовая)

50-90 м

На осушке

Сред<него> нас<еления> —

52%.

Взрывной способ очистки русла.

Были роскошные луга. Была здоровая река. Проклад<ывается> ж.д. Строится полотно-плотина. Река меняет русло, заболачивается. Капитализм, внеплановое, хищническое хозяйство. Крестьянство нищает без травы. Санит<арные> усл<овия> болезни. Река умерла.

Ручная работа. Она невозможна. Испробована и прекращена.

Вредительство на верфи. Местн<ые> рабочие исправ<ляют> машину... и т.д. (24).

После 1-й книжки, начинающейся размышлениями о Боге, мы словно попали в другое мыслительное пространство, иную, горизонтальную сферу авторской рефлексии. Эти записи, а также подобные им в 3-й, 4-й, 5-й книжках, не только фиксируют маршруты и события командировок Платонова в данное время, но, главное для нас, свидетельствуют о степени его погруженности в производственную и колхозную тематику. Несколькими страницами ниже 2-я книжка содержит знаменательную в этом отношении запись, казалось бы, говорящую о полном отождествлении личности и сознания писателя с происходящими событиями: «*Во сне*: “Промфинплан! Руков<одящий> промфинплан где?”» (30. Курсив мой — *Е.П.*). Однако самое удивительное то, что из такого рода записей в скором времени возникнут повести «Впрок» и «Котлован». Эпиграфом к книжкам 1929-30 гг. как нельзя лучше могли бы подойти слова из 3-й платоновской книжки (1930 г.), в измененном виде вошедшие в «Котлован»: «Социализм пришел серо и скучно ...» (41).

Пятая книжка открывается описанием производственного процесса в турбинной мастерской. Как выявили комментаторы «книжек», в период с конца 1929 по март-апрель 1930 гг. Платонов работал на Ленинградском металлургическом заводе им. Сталина<sup>5</sup>. Его «организационно-производственные записи» этого периода должны были использоваться в очерках и киносценарии на данную тему. На сегодняшний день из всех замыслов известен лишь неоконченный сценарий «Турбинщики», хранящийся в архиве М.А. Платоновой. Как указывают комментарии к 5-й книжке, «Конфликтология 6 написанных частей «Турбинщиков» отражает общие модели производственного жанра советской литературы 1920-30-х гг.» (339). По сути, те же общие жанровые принципы можно обнаружить уже в платоновских книжках, прорабатывающих данную тему:

36 часов безвыходно не выходя из мастерской.

При испытании бывали случаи вредительства: в корпусах гайки, лезвие ножа и пр.

Одновременно с ликв<идацией> прорыва.

Комсомольск<ая> бригада перед сдачей турбины 24 тыс. кВт. Обнаружено лезвием конец на стенде. Аварии избежали, благодаря предусмотрительности рабочих стенда.

---

<sup>5</sup> Примечания // Платонов А.П. Записные книжки. С. 338-339. Далее цитаты или информация из Примечаний будет приводиться по этому изданию с указанием страниц в скобках.

Бригада Ульянова.

Есть подстрекатели и сейчас; хотели «итальянку»; отсталые рабочие из деревень, подкулачники; летуны.

Трагедия производства в условиях — классово враждебного окружения...

Цех в работе с вредительством: на ответствен<ных> операциях должны работать только коммунисты.

Все коммунисты и комсомольцы д<олжны> стать планировщиками, тогда промфинплан будет доведен до станка и не будет простоев.

Бригада контроля и темпов; она занимается и планировочной работой; проверка производ<ства> станков и пр.

[Рабочий ответил англичанину Анису:

— Нам ждать некогда: мы — большевики.

Анис сомневался в сроках.]

Комсомолец Забалуев работал 72 часа подряд на ногах, бригада Трифонова работала [22] 34 часа подряд.

Слесарь-ударник Маслов, чл<ен> партии, стаж 30 лет.

Старые рабочие, вступившие в партию: Тугоров, Ковалев, Лухинберг, Сахорусов...<sup>6</sup> (62-63).

Как видим, уже в платоновских зарисовках к сценарию присутствуют все канонические персоналии производственного жанра 30-х гг. с типичной для них расстановкой сил: партруководство, комсомольская бригада и передовые рабочие, с одной стороны, и «отсталые рабочие», «летуны», «подкулачники», одним словом, вредители — с другой, а в самом сценарии есть даже «кулак-эксплуататор». Ключевым же эпизодом, на котором обрывается сценарий, является эпизод «спасения технологического процесса от срыва, который подготовили вредители» (340). В общем, все как полагается, без малейших сомнений, отступлений и вольностей в развитии и разрешении конфликта — как в самом сценарии, судя по его изложению в Примечаниях к «Записным книжкам», так и в самих книжках. Надо сказать, что 5-я записная книжка производит наиболее тягостное впечатление. В ней, за редчайшим исключением, практически невозможно обнаружить характерных черт платоновского письма. Именно в этой книжке среди записей производственного характера вдруг обнаруживаем новый поворот авторско-

---

<sup>6</sup> В данной обширной цитате мы позволили себе отступить от оригинала и убрать пробелы между фразами в целях экономии печатного объема. Однако этот чисто технический прием неожиданно обернулся исследовательским экспериментом, представившим платоновские записи как особого рода текст. Продолжив такую работу в отношении 2-й книжки и нескольких последующих, касающихся в первую очередь производственных зарисовок, мы убедились в том, что ликвидация пробелов существенно влияет на изменения в восприятии платоновских записок, и далеко не в «лучшую» сторону. Устранение пробелов оказалось сродни процедуре откачки воздуха. В и так-то непросто́м пространстве платоновских записей словно стало «нечем дышать».

го кредо: «Как мне охота художественно писать, ясно, чувственно, *классово верно*» (64. Курсив мой — *Е.П.*). Трудно представить, что этот «крик души», а также и замысел «Турбинщиков» совпадает по времени с работой над повестями «Впрок» и «Котлован». Платонов словно пытается через ординарное изображение производственной темы выбраться из той «пропасти», в которую его втянули раздумья о сложностях коллективизации и грандиозная идея «общепролетарского дома».

Однако нельзя еще раз не вспомнить, что речь в данном случае идет о «послечевенгурском» периоде творчества писателя, к которому относится замысел «Турбинщиков», что лишний раз свидетельствует о деромантизации его отношения к советской действительности и, вместе с тем, о двойственном взгляде на происходящие исторические перемены. Эта двойственность проявляет себя, с одной стороны, в искреннем желании не только самих социальных изменений, но и столь же искреннем намерении вместе с другими писателями-современниками делать «одно благородное дело — советскую литературу», засвидетельствованном в письме к Горькому по поводу трудностей с изданием романа «Чевенгур»<sup>7</sup>. Вместе с тем, и в искренней вере в то, что новый социальный строй является «своим», родным всему «бедному народу», частью которого Платонов всегда осознавал себя. С другой стороны, он прекрасно осознает, что противоречия, вытекающие из своеобразия его творческой манеры, уже далеко выходят за рамки «честной попытки изобразить начало коммунистического общества»<sup>8</sup>, как он пытался оправдаться в той же переписке с Горьким<sup>9</sup>. Возможно, «Турбинщики»

---

<sup>7</sup> См.: История неудавшейся публикации романа «Чевенгур» в переписке М. Горького и А. Платонова // Платонов А. Чевенгур. М., 1991. С. 411.

<sup>8</sup> Там же. С. 410.

<sup>9</sup> Здесь вспоминается история еще одной переписки: сибирского писателя В. Зазубрина, известного как автор «первого советского романа» «Два мира», и критика Ф. Березовского — по поводу неудавшейся попытки издания зазубринской повести «Щепка». В своем письме к Березовскому Зазубрин, подобно Платонову в его письмах к Горькому, убеждает адресата в том, что «искренне хотел написать вещь революционную, полезную революции. Если не вышло, так не от злого умысла» (см.: Литературное наследство Сибири. Т. 2. Новосибирск, 1972. С. 358). Сюжет же повести представляет собой историю будней ГубЧК — с кровавыми дознаниями и расстрелами, приводящими к сумасшествию героя произведения Срубова, являющегося сотрудником «чрезвычайки». В недоумении Зазубрина по поводу неудачи с изданием «Щепки», как и в недоумении Платонова по поводу неудачи с выходом романа «Чевенгур», на наш взгляд, проскакивает все та же детские наивная вера в новую власть как в «свою», родную, которой нужно лишь что-то дообъяснить по поводу самих себя, своей жизненной и творческой правоты и искреннего отсутствия «злого умысла». Насколько иллюзорными были представления Зазубрина об отношении к нему «родной» власти, говорит его арест и последовавший вскоре расстрел в 1938 г.



представлялись ему своего рода медиатором, позволяющим через приобщение к магистральной теме и изменение творческого ракурса соединить распадающиеся концы желаемого и действительного.

Однако недаром все же в платоновской сказке-притче 1921 г. победа осталась за Сомнением. Несмотря на то, что в следующих за пятой книжках классовые понятия используются Платоновым в соответствии с ценностными установками времени («кулак», «контрреволюция», «мещанин» — слова по-прежнему ругательные, подпадающие под общую категорию «сволочь»), атмосфера духоты (см. примечание 4 к данной статье), возникающая за счет «прямого» взгляда на события, здесь все-таки понемногу начинает разряжаться и все активнее заявляет о себе авторская рефлексия. Классово-производственный пафос все более сменяется размышлениями универсального характера, где в качестве ведущего мотива укрепляется мотив сопричастности «бедному и родному» народу.

В 8-й книжке, датированной 1931-32 гг., есть фраза, принадлежащая одному из героев повести «Хлеб и чтение» Жовову: «У меня личный пессимизм, а оптимизм — весь социальный» (94). Пожалуй, невозможно точнее определить внутреннее мироощущение самого Платонова. «Сквозь череду горя, труда и бедствия — к молодости, к вере и радости» (69), — запишет он ранее, в 6-й книжке. Первая часть этой фразы фиксирует то главное состояние, которое характерно для личного переживания писателем его эпохи («Без мучений нельзя изменить общество ...») (68), — запишет он чуть выше). Вторая же часть — это социальная вера в грядущее счастье, к которой пытается приобщиться Платонов. И все же через четыре года, в 1935 г. он будет вынужден признаться: «Для ума все в будущем, для сердца все в прошлом» (171), а в следующей записи засвидетельствует личное фиаско и в плане социальных надежд: «Революция была задумана в мечтах и осуществляется ... для исполнения самых никогда не сбывшихся вещей» (171).

Ведущими же мотивами во всех «книжках» останутся мотивы мучения, страдания народа-сироты. «Писать не талантом, а человечеством», — несколько раз в разные годы запишет Платонов в своих «Записных книжках», словно напоминая самому себе о специфике и назначении собственного дара. При этом отличительной особенностью книжек, по сравнению с творчеством Платонова, является практически полное отсутствие в них смеха (как, кстати сказать, и в платоновской публицистике). Даже жизненные курьезы подаются в них большей частью вполне серьезно. По-видимому та установка, которую писатель формулирует в 8-й книжке: «Мое молодое, *серьезное (смешное по форме)*» — останется главным по содержанию навсегда, надолго» (100) — касается исключительно художественного творчества. Пометы же в

«Записных книжках», как уже отмечалось, — это прежде всего сырьевой материал, жизненные наблюдения почти без обработки. Если в самом сырье есть смешной аспект, он будет сохранен в книжке, но и в этом случае главной будет та суть, которая остается за рамками смеха, как, например, в одной из зарисовок, относящихся, скорее всего, к реальному случаю:

Старику, торопившему с подачей чая:

«Умираю – пить хочу».

— Умирай скорей. (101).

Нельзя, однако, обойти вниманием чрезвычайно «смешную» запись из той же 8-й книжки. Видимо, это фрагмент из какого-то неизвестного нам текста или замысла, скорее всего, повести «Хлеб и чтение». В издании книжек комментариев к нему нет:

Вы думаете, что я страдаю полигамией, — у меня его не было... Точно также никакого обскурантизма своей жизни я не встречал.

Я люблю вас без всякого трюизма...

Остаюсь с плеоназмом и аннотацией —

Курдюмов. (100).

Интересно, что данная запись следует сразу после сформулированного Платоновым собственного «нового пути»: «Сущностью, сухой струей, прямым путем надо писать». Однако это предельно редкий случай. В целом же в «Записных книжках» почти ничто не разбавляет «серость и скуку» наличного существования. Сам же автор своими записями подобен той старушке, которую изобразил в одной из своих книжек: «Старушка ... говорит, что есть, что видит: столб стоит, санитары едут, солнце взошло и т.д.

Получается чудовищно пошло, душно, смертно.

А все верно!» (217).

Пересыщенность такого рода «сухими», констатирующими записями, отражающими существо «новой жизни», как нам представляется, и рождает то мучительное чувство, о котором мы говорили в самом начале данной статьи. В итоге оно оказывается гораздо сильнее, чем при чтении художественных произведений Платонова, где смеховая стихия в какой-то степени помогает преодолеть и в чем-то уравновесить ощущение невыносимости подобного жизнеустройства.

Надо сказать, что, кроме прочего, «Записные книжки» являются незаменимым источником, помогающим раскрыть загадку платоновской стилистики. Они показывают, что языковые аномалии, которыми перегружены художественные тексты Платонова, своим истоком имеют в том числе и естественную речь самого писателя. В «Записных

книжках» Платонов не столько отшлифовывает собственный язык, сколько фиксирует мысль либо формулирует ее еще не вполне ясное мерцание. Но как в том, так и в другом случае платоновские записи оказываются чрезвычайно близки речи его персонажей, а также и повествователя — как в лексическом, так и в синтаксическом планах. Вот несколько наиболее показательных примеров, не оставляющих сомнения в том, что они представляют собой размышления самого Платонова: «Возможно, что Азия всегда была малонаселенной в некоторых частях и пустынной. Именно это способствовало созданию высоких культур ... путем уменьшения напряжения взаимно-человеческой судьбы, благодаря закрытию перспектив к материальному обогащению» (130. Подчеркнуто автором — *Е.П.*); «Наибольшее изменение или горе последовало после путешествия Хр. Колумба, что земля круглая, безысходная, а не плоско-бесконечная» (132); «Над землей есть несомненные птицы» (144); «Жизнь для Сарториуса действительно стала неповторимой, поскольку он делал все время несуществовавшие факты» (145); «От ударов топором саксаула — из него сыплются искры (такова плотность этого дерева-бедняка, жадность к сбережению влаги, тесная скупость растительного тела)» (145); «Когда я смотрю на тысячи изображений, — я вижу руку верных жен, тихой жизни, где единственно возможно рождается заботливая мысль об улучшении техники для жизни» (152. Подчеркнуто автором — *Е.П.*); «...Общество нужно основать на всем комплексе своих чувств к ... соседу по двору» (166); «Неведомый мальчишка абс<олютного> слуха: и свист бомбы, и лучшие русские песни сразу ухватывает и напевает, и никто не видит этого мальчишки» (254); «Самые благородные существа на свете — растения: они минерально нас обращают в живое ...» (255) и т.д. и т.д.

Эти «сырые» записи Платонова создают впечатление не столько «летающего пера», сколько попытки неподготовленного сознания переработать и сформулировать открывшийся в опыте жизни богатейший смысл отдельного факта. Собственно, это близко тому, что наблюдаем мы в платоновском тексте и что часто связывается с детским восприятием действительности. Записи Платонова дают основания для заключения, что такая характерная черта многих его персонажей, как «детскость», оказывается в чем-то присущей и самому писателю. Эта мысль находит оригинальное подтверждение на одной из страниц «Записных книжек», содержащей карандашное изображение сельского пейзажа с церковью. Показательно в этом рисунке то, что, изображая небо и облака, Платонов сопровождает их надписями поверх рисунка: там, где небо, надписано: «небо», там, где облака — «облака». А на темных контурах за церковью стоит надпись: «леса растут могучие».

Обычно такие тавтологичные надписи характерны именно для детских рисунков.

Интерес к детскому мировосприятию — одна из характерных черт не только платоновского творчества, но и личности писателя, о чем опять-таки свидетельствуют его «Записные книжки», где детская тема занимает особое место. Детская речь, детский взгляд на жизнь, на человека чрезвычайно важны Платонову в силу какой-то внутренней им близости. «Дети (маленькие) одинаково “привычны” — жить и не жить; в этом и есть их главная прелесть: в беззащитности, в незаинтересованности.

Описание такого душевного состояния и есть вся литература о детях» (278) — последняя заметка, относящаяся к «Записям разных лет».

При этом сквозным в платоновских книжках является мотив *ребенка как полноценной личности*, заявленный еще в 1-й книжке 1921 г.:

В сущности нет ни детей, ни взрослых — есть одинаковые люди.

Взрослый ни дороже, ни дешевле ребенка.

Дети — все ... разумные люди. Великая ложь — смотреть на них сверху; они хитроумный удивительный и наблюдательный народ. (21).

Воспоминания детства, наблюдения за детьми — в поездках по России, в случайных встречах, зафиксированные в «Записных книжках» Платонова, наиболее интенсивно — начиная с 1932 г., сложно переплетаясь, образуют особый пласт его творчества: детские рассказы, где главными мотивами являются терпение и мудрость маленького человека. Владение одной из первых тайн жизни: тайной бессмертия — тоже наделен у Платонова в первую очередь ребенок. Эта черта детского мировосприятия также переносится в творчество писателя из его реальных впечатлений. «Ребенок матери: (видевши торжественные похороны): “Мама, умри, тебя хоронить будут на пушке, на лафете, а потом ты придешь”» (164); «Ребенок 4-х лет (бабке): “Помрешь и будешь скучать, что с мальчиком (с ним) не играла!”» (182), «А когда ты будешь мальчиком? — (ребенок старику)» (218) и т.д. В одной из последних записей, относящихся к работе над сказками и рассказами для детей, эти наблюдения преобразовываются в детский вопрос: «Бабушка, а когда вырастет мама из земли; одни кресты растут» (277).

Изучение материала «Записных книжек» убеждает в том, что Платонову важно было зафиксировать в них собственный разнообразный личный жизненный опыт. Как верно отмечено в Предисловии к книжкам, они практически не касаются официальной литературной

жизни. Она — за пределами творческого интереса писателя, который «работал и жил вне страстей советского литературного процесса» (3), но в то же время внутри «страстей» самой эпохи, и при этом движимый горячим желанием торжества социалистической идеи как символа абсолютной справедливости и мировой гармонии. Производственные записи конца 20-х — начала 30-х гг., а также записи, касающиеся его поездок по России и «азиатских» командировок, в наибольшей степени отражают искреннее желание Платонова быть участником этого грандиозного процесса «обустройства» страны. Однако бóльшая часть его заметок отражает несоответствие между его страстной мечтой и реальным положением дел. Итоги лично прожитой жизни оказываются значимее и ценнее жизни официальной, исторической, однако оборачиваются при этом практически непосильным грузом эксклюзивного опыта.

«Если бы мой брат Митя или Надя — через 21 год после своей смерти вышли из могилы подростками, как они умерли, и посмотрели бы на меня: что со мной случилось? — Я стал уродом, изувеченным, и внешне, и внутренне.

— Андрюша, разве это ты?

— Это я: я ... прожил жизнь» (229), — запишет Платонов в 1942 г. в возрасте 43-х лет, за девять лет до смерти.

Сам характер платоновских записей убеждает в том, что за его плечами действительно особый, неповторимый жизненный опыт, и не только, а скорее, не столько в силу реальных личных обстоятельств, трудности судьбы, сколько в силу особенности личностного мировосприятия и отношения к судьбе каждого, не только близкого, но и «дальнего» человека, как к своей собственной. «Человечество — одно дыхание, одно живое теплое существо», — напишет он в 1921 г., будучи еще совсем молодым человеком, в статье «Равенство в страдании»<sup>10</sup>. «Записные книжки» вновь убеждают в том, что это утверждение раннего Платонова стало его этической максимой, которой он не изменил на протяжении всей жизни.

---

<sup>10</sup> Цит. по: *Чалмаев В.* У человеческого сердца (в художественном мире Андрея Платонова) // Платонов А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М., 1984. С. 13.